

— Это какие же такие еще черные?—и голова старухи сердито затряслась.—Кого же вы, ребята, бьете-то?

— Кого придется,—сдерживая улыбку сказал Телегин.—Белые попадут—белых, красные—красных.

Бабка взмотнула локтями и глаза ее запрыгали, она повернула от стола назад и через плечо бросала:

— Черти вы!.. Вот черти... Что надумали, а? Черные какие-то, а?! Направо-налево кровь льют, а?! На-те вам сметанки, на-те!!—издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу кринку со сметаной и отдергивала назад:—На-те, окаянные... На-те...—Глаза ее горели яростью.—Ишь ты... черные... ни дна б вам, ни покрывки, подлецам... Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых... Мы че-о-рные... Тьфу!..—и старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке.—Нет, ребята, это не по-божецки. Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной...—голос ее стал мягче и глаза глядели на пришельцев жалостливо.—Эх, ребята, ребята... Дуть вас надо, дураков...

— Хозяюшка,—сказал Телегин,—мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки...

Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:

— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?

Слово «товарищ» ошарашило старуху, как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дробно заляскал в пол и сарафан сзади гулко встряхнулся.

— Ой, ребята,—безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку.—Ой, ребятуншки, товарищи... Дак кто же вы?

Степка Галочкин ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:

— Красные, хозяйюшка, красные...

Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места:

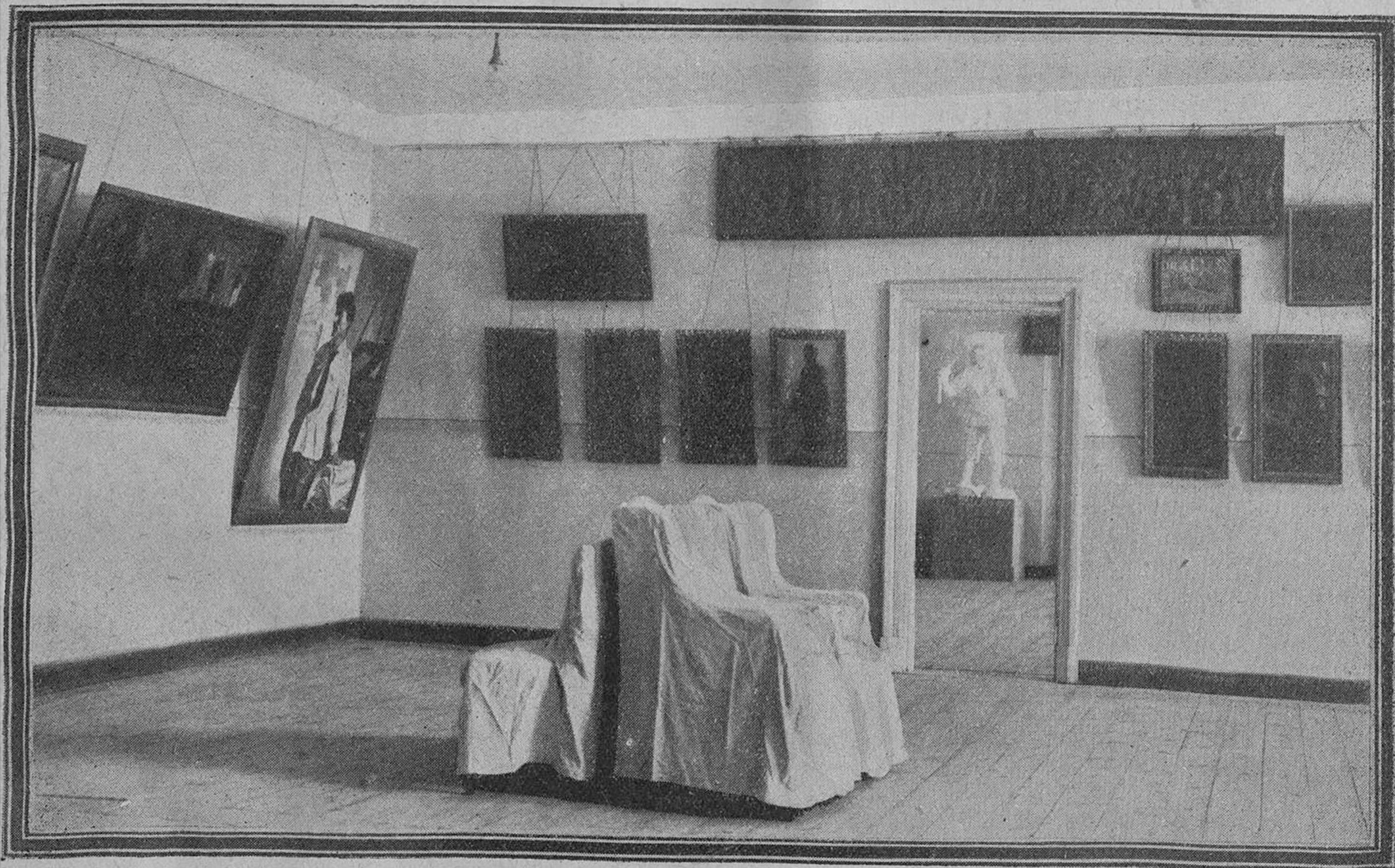
— Ребятуншки, голубчики, товарищи наши!—заорала она осипшим басом, как сумасшедшая.—Бейте их, окаянных, белых этих самых!—грохнула она ухватом в пол.—Бейте их хорошень!.. Бейте!!—бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла.—Они, подлецы, родного старика моего в баню заперли, хозяина... Вавилой звать... Пошел он вчерась к дочке, дочка у нас в том конце замуж выдана. А его там и замели—ты, мол, красный—да в баню на старости лет... Вот они, собаки, ваши белые-то что делают... Давите их, подлецов, пожалуйста!!

Бабка, как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого хайла летели слюни.

Красноармейцы хохотали, Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и заливисто визжал, подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог, темным облаком под потолком шумели мухи.

В Я Ч. Ш И Ш К О В.

К ОТКРЫТИЮ ПОСТОЯННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ ПРИ ДВОРЦЕ ТРУДА.



Во дворце Труда при культотделе ВЦСПС открылась постоянная художественная Выставка, зародыш будущего Художественного Музея Труда, задачей которого является отображение труда и быта Республики в произведениях искусства. На Выставке сосредоточены образцы труда, портреты профвождей и деятелей и т. д.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНАЯ НИВА

— ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО И Ю. М. СТЕКЛОВА

№ 16

Москва, 20-го апреля 1924 г.

№ 16

ПОСТОЯННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА ВО ДВОРЦЕ
ТРУДА (ВЦСПС).

Фот. Кузнецова.



А. В. Моравов.

М. И. Калинин среди деревенской молодежи.

— Мама! Мамочка!.. Почему же в них никто не стреляет? Почему их не убивают?.. Ведь это же немцы!.. И зачем ты мне не купила ружья? Я бы стрелял-стрелял: бух, бух, бух!..

Мама, удивленная его горячностью и волнением, объяснила, что ему нельзя не только стрелять, но даже говорить про это, что немцы пришли помогать украинцам драться с большевиками, и потому в них никто не стреляет.

— Мама, как же?.. Ну, как же помогать?.. — ничего не мог он понять из объяснения. — Разве бульшувики не немцы? Нет?.. А почему же немцы в русских стреляют, и когда папа был на войне, в папу стреляли, — и бульшувики тоже в русских стреляют?.. Ведь это же одинаково!..

И все у него спуталось, слилось, смешалось, переплелось в тяжелый беспокойный клубок. И, когда через несколько дней, придя с мамой в магазин, Боря увидел там немецкого лейтенанта, он долго смотрел в его льдисто-голубые, твердые глаза, наконец, не сдержался и, сделав ручками жест, словно прикладывался к ружью, громко, уничтожающе, непримиримо крикнул:

— Бух!..

Лейтенант вспыхнул и отвернулся, а мама, мучительно покраснев и ничего не купив, вышла из магазина.

День у Бори большой, долгий, полный неизъяснимого разнообразия всяких чувств и впечатлений. Встает он рано, чуть свет.

— Вместе с петухами! — как сказал один раз папа.

Это Боре понравилось, и теперь, просыпаясь, он поднимает голову и с полуоткрытыми глазами, совсем еще сонным голосом тревожно спрашивает:

— Папа, петухи уже встали? — боится, чтобы те его не опередили.

— Нет, нет. Еще спят. И ты спи.

Боря нежно улыбается, закрывает глаза и минуту дремлет с сладким спокойствием и довольством, пока совсем не просыпается. А днем рассказывает дяде Знаю:

— Знайти, как у нас? Раньше всех встает папа. Потом петухи. Вместе с петухами—я. И уж после, после всех—мама. Мама у нас женщина: женщины всегда после всех встают. А мужчин у нас только двое: я и папа.

Иногда, впрочем, бывает, что Боря просыпается раньше папы. Тогда он заботливо и тихонько будит:

— Папочка, беленький! Свет в окно стучится!..

Папа у него совсем не беленький, но это слово у Бори обозначает высшую степень ласки, и почтительности — и прилагается только к папе в минуты особой душевной полноты.

II.

Слова для него не все еще открыты. Многие он понимает по-своему, так, как никто и не догадывается, а многие создает сам, по своему образцу. О смысле слов у него было несколько разговоров со старшими, но те почему-то всегда обнаруживали странную непонятливость. Даже папа, и тот по несколько раз переспрашивал о самых ясных и несомненных словах.

— Я был уснутый, папочка, а потом проснулся, и мы с мамой в сахарницу пошли... — рассказывает Боря о каком-то происшествии.

— В сахарницу? — не понимая, вскидывает брови папа.

— Да.

— В какую сахарницу? Что ты!

— А где сахар продают?.. Магазин такой. Ты думаешь, там всякова-всячева продают? Нет!.. Только сахар.

Или в другой раз. Явился небывалый человек и надо было о нем, конечно, сейчас же возвестить:

— Папа, смотри: к нам чиновник пришел!

А папа, будто без глаз, совсем ничего рассмотреть не может и спрашивает:

— Где? Какой чиновник?

— А вот! Видишь? Который печку чинит! — кричит Боря весело и смеется над папой.

Про дядю Знаю и говорить нечего: тот часто в самых простых словах разобраться не может. Уж чего, кажется, проще такой случай. Подходит к нему Боря и спрашивает:

— Дядя Знай, вы знайти, кто я? Знайти?

— Нет.

— Нет? Я — стихольщик! — с торжеством вскидывая ершистую голову, объявляет Боря.

А дядя Знай даже глаза вытарашил:

— Стекольщик? Ты — стекольщик? — и смеется пренебрежительно.

— Да нет же! Я стихольщик: стихи сочиняю!..

— А!.. — наконец-то догадывается дядя Знай и катится со смеху.

Трудно с этими большими договориться до точного понимания, а ничего не поделаешь, — маленьких знакомых у Бори почти нет. Живет, играет, говорит и думает он только с большими, — и от этого часто бывает очень скучно. Тогда неудержимо хочется бесноваться, бегать, прыгать, скакать, крутиться, шуметь. Но мама за это сердится.

— Что же мне делать, если меня шалости одолевают?.. — оправдывается Боря, но этот довод мало на маму действует.

III.

По улицам Боря ходит всегда с мамой. Мама держит его за ручку, а он прыгает, скачет и проходит, вероятно, расстояние раза в полтора большее, чем мама.

Но сегодня воскресенье, папе не надо идти на службу, и Боря отправляется гулять с папой. Это уже настоящий праздник: папа самый старший, самый большой и серьезный в доме, — и вот он идет рядом с Борей. Это очень значительная и важная прогулка, не то, что с мамой.

— Куда же мы пойдем? — интересуется Боря.

— Туда, где ты еще никогда не бывал. В монастырский сад.

— В мон... монастырский?

— Да. Это громадный, красивый, с оврагом, с мостиками сад. И монахи ходят по дорожкам. Черные такие. Вот увидишь!..

Восторженная радость охватывает Борю. Он идет, улыбаясь и пританцовывая, поминутно задавая папе все новые и новые вопросы. Удивительные люди, эти старшие. Скажут что-нибудь, — и за их словами открываются и проплывают чудесные смутные пятна, в которых не все можно рассмотреть и охватить мыслью, но чувствуешь, что там таится очень много интересного. Надо только скорее спросить, разузнать, понять, а то не всегда успеваешь, и пятна надолго скрываются, — тонут в какой-то мягкой

ПОСТОЯННАЯ ХУДОЖ. ВЫСТАВКА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА.

Фот. Кузнецова.



Келин.

Портрет Э. Я. Рудутака.

ЦЕНА в Москве, провинции и на станциях жел. дор. — 25 копеек.

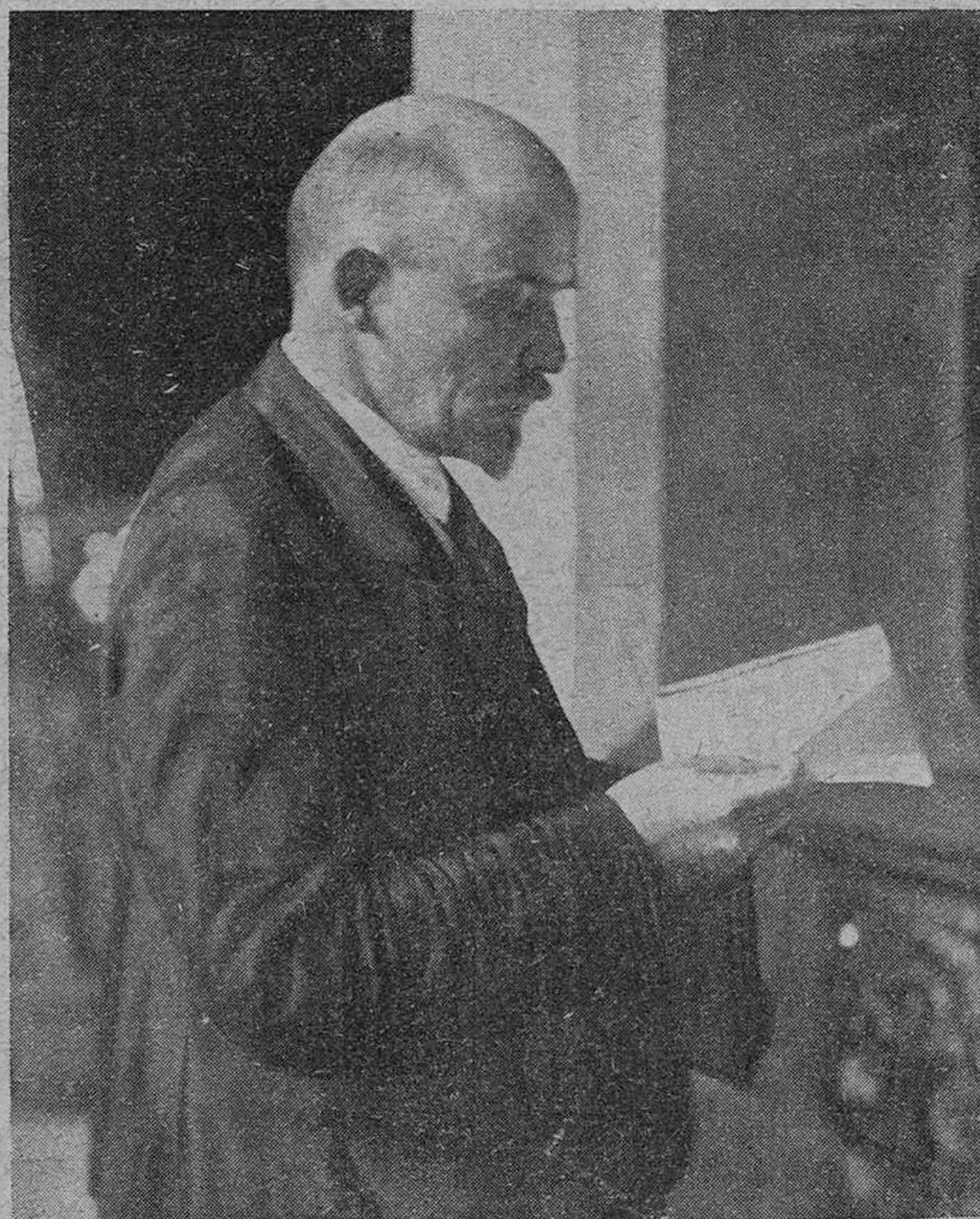
КРАСНАЯ МИВА

№ 16

Москва, 20-го апреля 1924 г.

№ 16

Фот. П. Оцуна.



В. И. Ленин
(Неопубликованный портрет).

иглица смачно и хвойно. Били дерзко и хрустко сгибаемые лапы лозняков.

А над головами,—над поляной, над лесом, над рекой,—еще гуще, еще пьяней, еще глубже млела в поту земном черная, безмолвная ночь.

III.

Брели по нюху, шагах в сорока друг от друга. И еще потому брели, что у Владимирова на книжке в Черкасском уездном казначействе не хватало до тысячи.

—Догоню до тыщи, а там можно и в Киев махнуть.

Владимиров шел в середине. Торопко и шкодливо нышпорил глазами, шеей, головой, плечами в темноте. А клесу подошли — колотилось в стенке грудной клетки жарко и поптичь как-то пугливое сердце.

Те двое в стороне прилегли. Прилег и Владимир. Голову сунул в кусты и замер... А росою обдало — знакомая, противная дрожь понеслась от головы к груди и пониже к ногам... Частью осталась в пальцах, а частью в сапоги изошла — высокие, мягкие, шагреньевые.

Горячей, как растопленное олово, головой приплюснул к земле, к росе, к листьям прошло- и позапрошлогодним. Несло от них сырым, свежим, осиновым. В раздутые ноздри било и освежало здорово и крепко. А пониже легких — бока опускались и поднимались и выдавалась молодая крепкая грудная клетка.

Полежал минут десять. Отлегло. Отстукало свое. Теперь было сочно и ровно, а голове стало хорошо.

Указательный палец оторвал от гашетки. Сунул браунинг за пояс под поддежкой. Тихо привстал на колени на том месте, где лежал. Привычные к темноте глаза вlepил в лес, в кусты, в небо, в перелески.

Было в лесу сыро, хвойно и медвяно. Было в лесу тихо, как перед грозой, только не знойно.

А над лесом лежало небо — черное, с черной, еле заметной, просинью.

А в глазах, — от черноты, — светляки отскакивали, как стрекозы.

Постоял на коленях. Подумал. На глаз определил, где те двое. Кончик языка к зубам приложил с середины.

— Ццц...

Цццц...

В темноту вслушивался — также колотилось... Только к горлу, к голове подошло и зубы кламкали беззвучно и сухо.

Подождал. С выхваченным браунингом и с пальцем на гашетке влип в землю, словно вываженный из каменных недр.

Отлегло. А браунинга не сунул за пояс.

Снова приложил сухой язык к четырем средним зубам.

— Цццц...
Цццццц...
Цццццц...

Три раза под-ряд цикнул в одну и в другую стороны. А ответили — совсем отлегло, и кровь шла по трубочкам хороши́м, ровным боем.

Подошли те. Шушукались долго и невнятно. Разошлись. Ногами мягкими, ласковыми давили землю цепко и осторожно, словно по тонкому льду.

Шли шагах в десяти друг от друга. Владимир в середине. Прямо к поляне вел

нюх безошибочно, как перелетную птицу натасканным, сильным инстинктом.

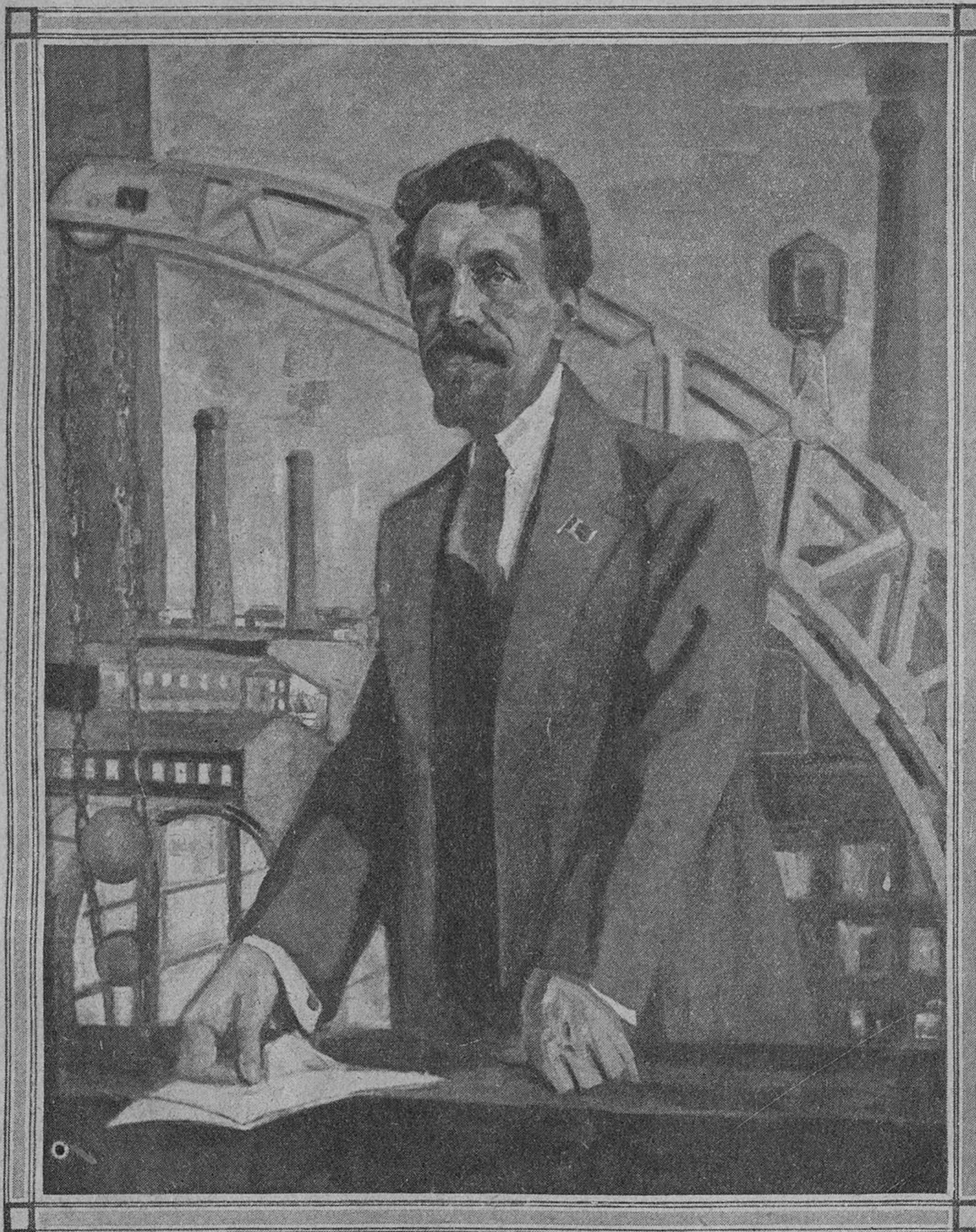
А цепкий, еле приметный, говор услышали — ползли по земле, по листьям сырым, слежавшимся. И не было хрусту под коленными чашками, мягко вдавливающими податливую, как вата листву.

К самой поляне подползли — огоньки папирос, как волчьи глаза, сверкали хищно и подстерегающе.

Теперь все трое вынули — Владимир браунинг с полной обоймой, а те — полицейские смитвессоны с огромными, как игрушечные боченки, барабанами.

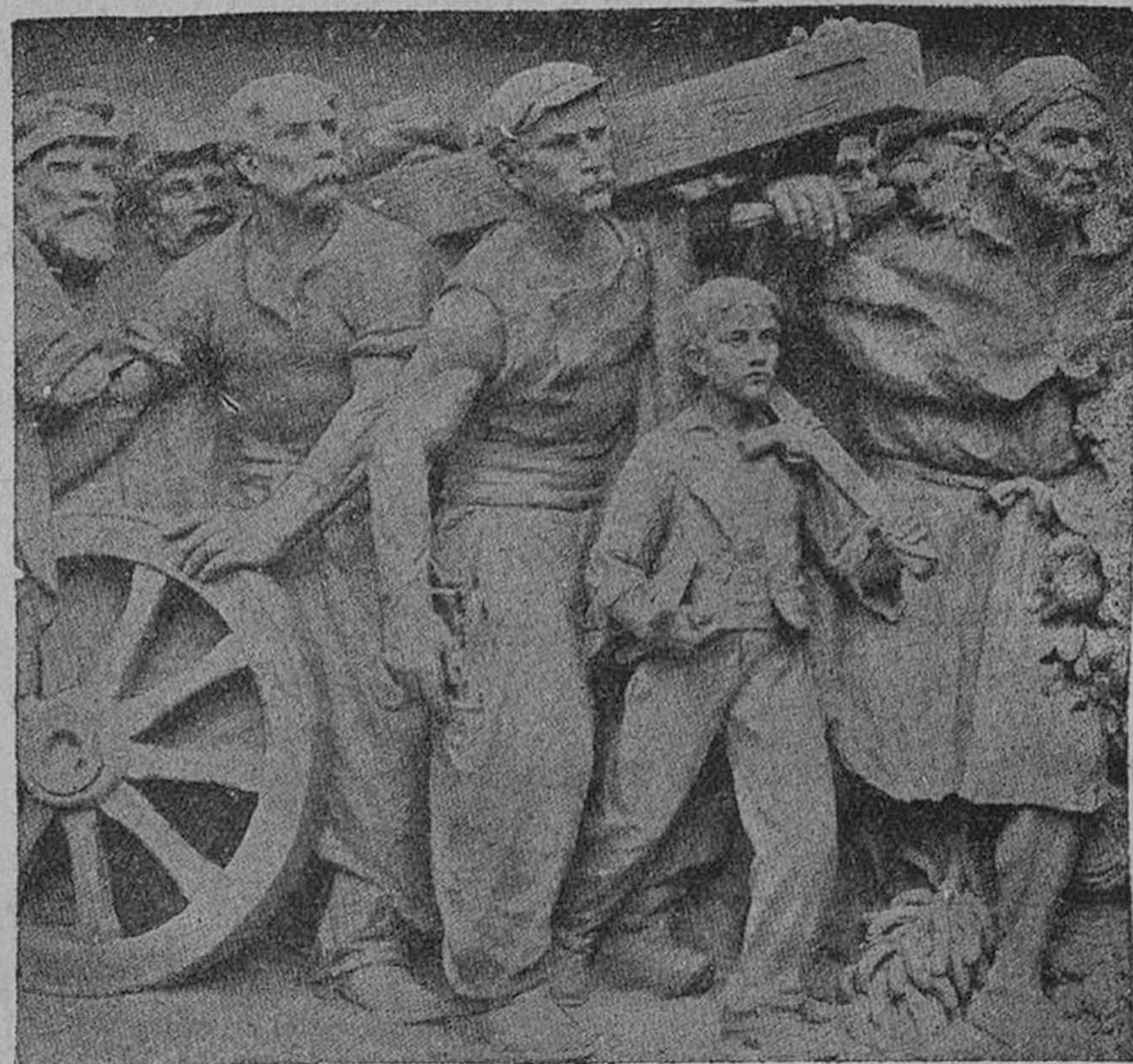
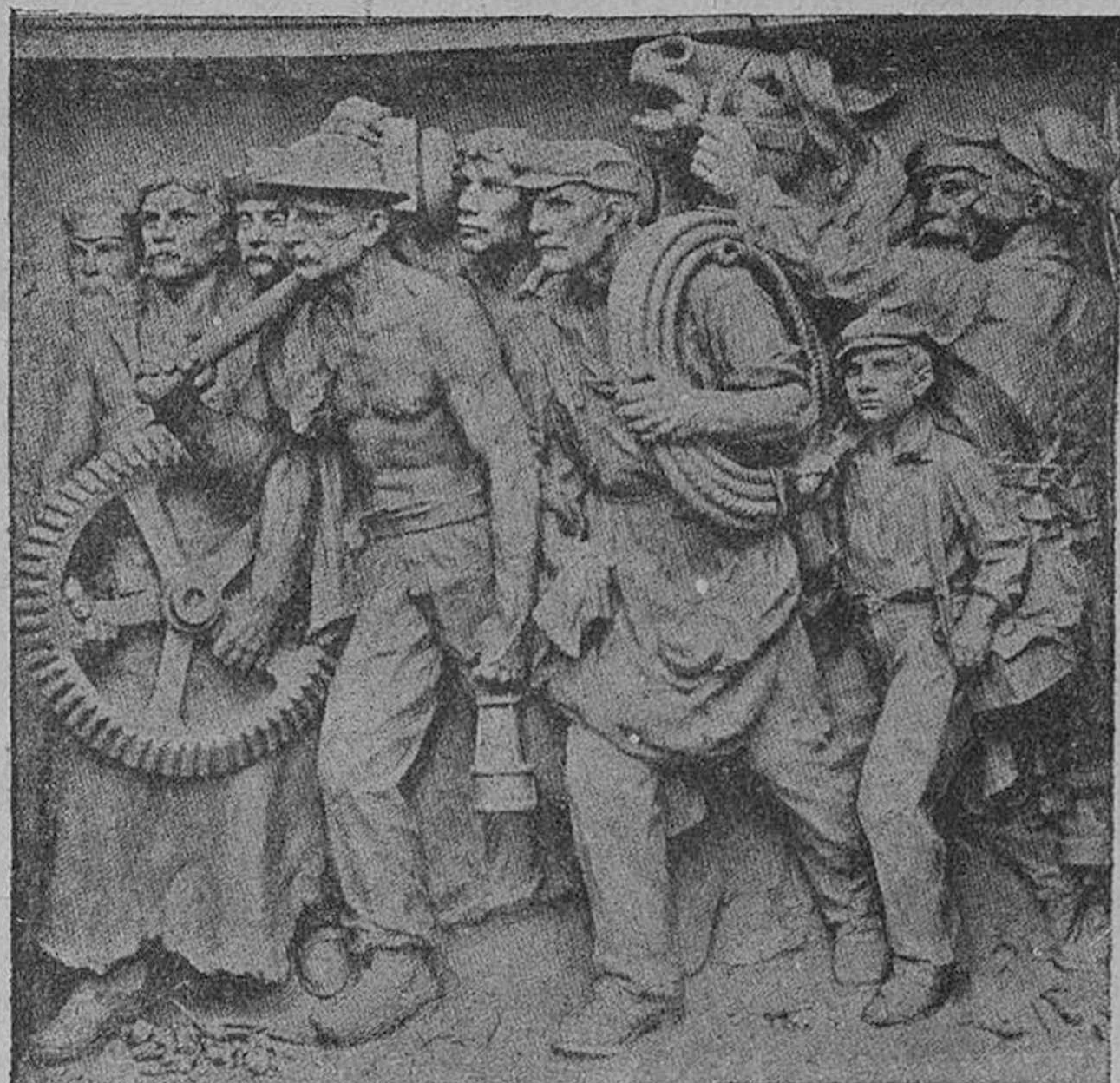
Застыли. Приросли к земле, к тонкому пласту полусгнившей листвы. Чуть-чуть дышали. Тонкими, на пол-горла, струйками пропускали лесную, заблуждую сы-

ВЫСТАВКА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА.



А. И. Рыков.

Портрет работы Н. П. Ульянова.



Труд во французской скульптуре. «Фриз труда», раб. Гийо.

рость в мешки. Совали в уши, передавали в мозг, в память вклинивали тихие, стоголосые говоры, долетавшие с поляны. Глазами, ушами, всем—были среди тех,—на поляне,—а сами лежали не там, а тут—в десяти, пятнадцати, двадцати шагах от тех.

А Чепель за час до этого сидел на пригорке у Днепра. Этот не сжимал рукой браунинга. И указательный палец не лежал на гашетке. Билось у него ровно и спокойно: хоть сам Сент-Иллер просчитай...

А донеслось с той стороны—гул, хохот, пьяное пение, женские взвизгивания, волнами докатывающаяся, словно умирающая, музыка,—вековой, упрямой, как скала, злобой сжал кулаки, крепкие, как снаряды, выбросил со всего плеча в ту сторону за Днепр, там, где были глум, святотатство, позор и стыд, устилавшие землю прогнившей, осклизлой плесенью.

Военное собрание...

Благородное собрание...

Купеческое собрание...

А потом—отошло. Ненависть не отошла... Она никогда не отходила. Жил Чепель с ней, как жених с невестой. Любил ее, всегдашнюю, черную, кровавую, старую, как мир... Любил, как невесту...

Лодка подошла с той стороны, и в лодке четверо...

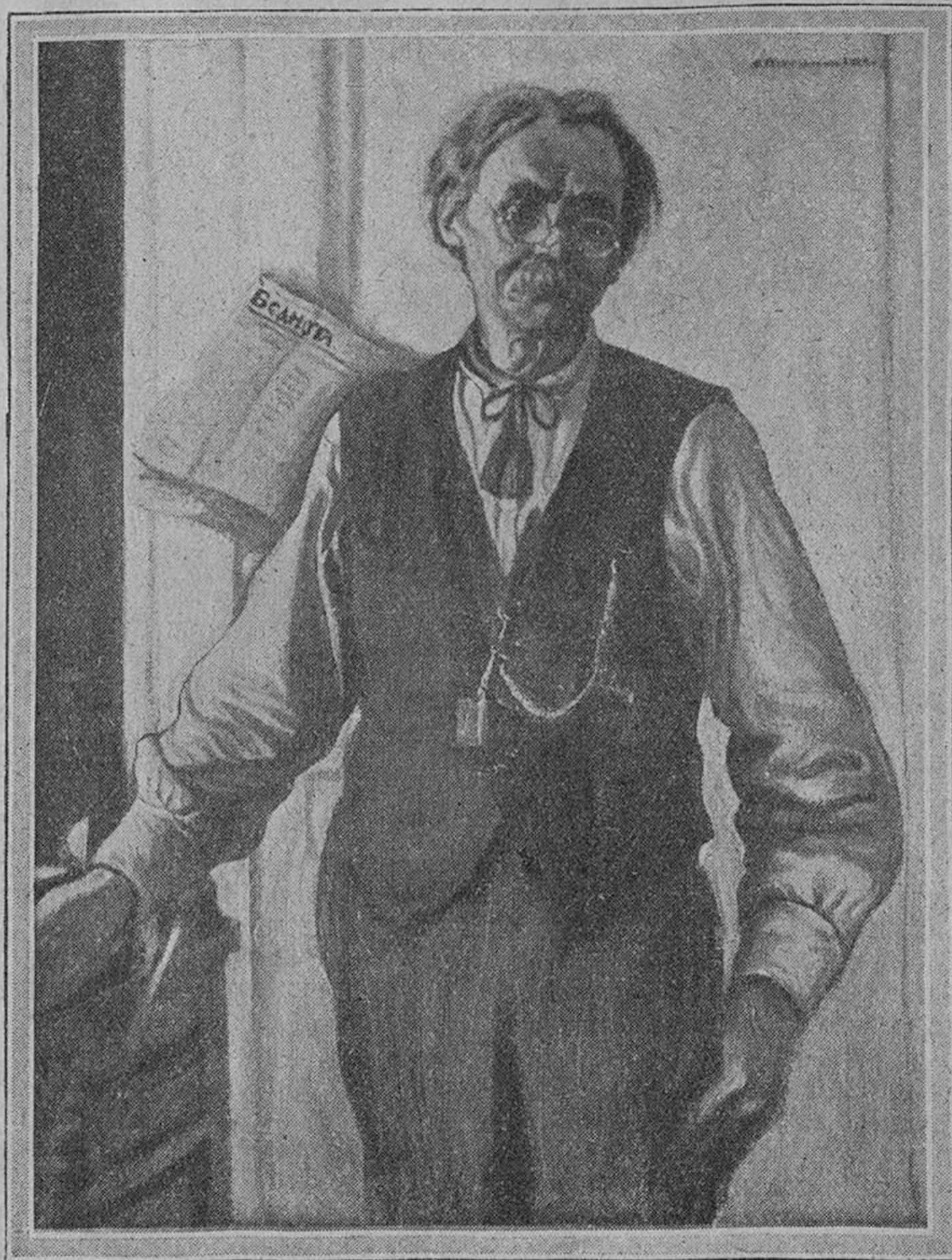
Залег в кустах ожинника и дикой розы. Голову льняную, белую в то место, откуда земля гнала рост всякому кустику и травине всякой—положил на тело земли, на свежее, вспотевшее росой, тело. И стало Чепелю тихо и радостно, так, как бывало, когда мать в детстве брала его на руки

и льняной, розовый Яшка засыпал у маткиной титьки. А теперь:—

— Это с того берега... На массовку...

Подумал тихо и покорно, одним маленьким кусочком головы.

ВЫСТАВКА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА.



Перельман. Портрет героя труда, наборщика тов. Козлова.

А те лодку в кусты, в лозняк, в камыш, в очеретяк—просунули бесшумно и плавно. Поогляделись. Пошли... Прямо на кусты ожинника и дикой розы вел передний.

— А далеко?..

— Он тут и есть...

— Попадешь?..

— Попаду...

Голоса были не робкие, испытанные, бывалые, и прошли люди в трех аршинах от Чепеля...

А не стало слышно тех—голову от земли отвел, вслушался в темноту, прорезал глазами лес, лозняк, ожинник, в котором лежал. Вытянулся вверх от земли, как пружина.

— А не пойти ли и мне?.. Хотя меня и не знают, а пойду... Послушаю... Спрячусь там—не увидят.

Вслед за теми пошел к поляне круглой, как тарелка. И билось у Чепеля ровно и покойно.

А через час на круглой поляне:

«За нас некому отстаивать наши интересы... Мы сами за себя должны постоять. А для того, чтобы нас не застали врасплох, мы должны объединиться в одно целое. Особенно важно сделать это теперь, потому что реакция работает во-всю и мы тоже должны во-всю».

КРАСНАЯ ШИВА

№ 17

Москва, 27-го апреля 1924 г.

№ 17



НАШ ПРАЗДНИК.

Издательство „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.

КРАСНАЯ НИВА

— ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Ю. М. СТЕКЛОВА

№ 17

Москва, 27-го апреля 1924 г.

№ 17

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ.



На демонстрацию!

Спец. рис. для «Кр. Нивы»
худ. Грузенберга.

туфли, как каждый вечер, звенят за стеной протираемые хрустали люстры, чистит ее каждый вечер, на лесенке: годы, осени, весны.

Сергей возвращается вечером, — тоже, как и все, усвоил уже здешний облик: остроносые ботинки, трубка, зеленая шляпа. Ходит, как все, сбегает в колодцы подземной, куда-то все носится, озабоченно, как все немцы, только у тех от этой упорной, дьявольски-трудной жизни глаза глубже, да скулы тверже, а у этого нет-нет да растерянность в синих глазах и страх — волчий перед чужой этой жизнью, которую словно совсем приручил, да вдруг — волчий оскал, и покажет чужое, совсем равнодушное, совсем мертвое лицо. На родине что бы ни было — нет этого собачьего страха перед жизнью, своя земля; ляжешь щекою к земле — прохлада и в зной, пусть смертная, но примиряющая, — а здесь ужас, страх — маленький, круглый страшок, — каждый день, каждый час. Так жить нельзя — на чужой земле.

Два раза вспомнила — так осязательно, раняще — золотой майский тот вечер, когда подростком тряслась на телеге Федора Одинокова: в первый — в лечебнице, белой, блистающей лаком, желтыми половниками, сталью инструментов, где чужой — белоснежный врач, с лощеной розовой лысинкой, привычно и осторожно убил в ней ребенка; во второй — теперь: вечер, зеленый гной газа, Сергей вернулся — голодный, озябший, остроносые ботинки, как у всех, а в голубых глазах — ужас, собачий, придавленный ужас и растерянность. Все испробовано — от гвардейского офицера до кельнера в ресторане, всем был, всему научился, — Константинополь, Берлин, Прага, Париж — весь мир, весь свет; выбрит отлично, по-европейски, — ничего не стыдно, любую работу, — шины за окном отрывают от клеенки клеенку, золотая вывеска лопнула золотом, золото ползет — сусалью, — текучими буквами — Massagu... Massagu... Это тогда решили, в тот вечер, раз навсегда, крепко, окончательно, каменно — назад, в Россию, пусть снег, ковриги снега — в русском снегу всегда найдут тропку, отыщет нога — пусть в остроносом евро-

пейском ботинке, ведь ступня-то босой знала землю, эту шероховатую, прохладную землю родины. И тогда сразу все стало ясно, оправдано, ничуть не страшно. Зды не весь мир определен, отмечен этим асфальтом и ровными плоскими камнями, которыми забивают плечи асфальта. Там, за асфальтом, за подземными поездами, в которых немцы мусолят огрызки сигар и стоя читают газеты, есть именно тот громадный, непройденный мир, в который подростком входила Маша Ярцева — золотым загаром полей, мир не исхоженный до последней пяди, не загаженный этими серо-волчьими немецкими собаками — в сущности, именно то, что было первоосновой бегства, изгнания, страшной кутерьмы жизни: — Россия. И в глазах у Сергея, в этих европейских глазах, чуть равнодушных, ушедших в себя — когда растерянный, когда легкий ужасик в них перед этим страшным цепляньем за жизнь, — тогда в них: Россия, то-есть разрешение всех вопросов, все — понятное и нестрашное. И в тот вечер,

когда решили: назад, в Россию — тогда именно такими, прежними, русскими стали его глаза, Маша от счастья плакала, целовала их, мочила своими слезами и, может быть, слезы мешались — многое было тогда, в этот вечер. Чайник на спиртовке домашне дренкал крышкой, тяжелые шторы стянули, чтобы отгородиться от мира, и газа не зажгли, зажгли две толстых красных свечи, тени колыхались, неслись — все было, как в России, в деревенском доме. Утром Сергей на цветочном рынке купил цветов — мелкие, голубоватые и пахучие, за цветами — близко — была Россия... И вдруг оправдалось все, жизнь заполнилась — стали жить как бы на ходу, на отлете, как бы проездом в городе, когда, что ешь — неважно, и спишь кое-как, может быть, завтра сниматься, дальше нестись; и к людям присматриваешься со стороны, как проезжий, в жизнь не входишь.

В посольстве номерки выдают на очередь, все очень просто, у секретаря — немецкие зеленые чулки с отворотами, но в них еще более — русский, как в скорлупе; русские рабочие из Америки — роговые очки, кепки, а входят с улицы — руку об руку хлопают, как мужики, ноги отбивают от наледи, как русский снег отбивают в России; и сырость вносят с собой, бодрый морозец. Все назад, в Россию, — какое громадное слово, тяжелая глыба, — таинственное, заманчивое даже для немцев, для англичан, которые тоже ждут с номерками. Вот теперь сразу словно распахнуты двери, теперь есть воздух, теперь годы изгнания, бессмысленной кутерьмы, смрада, отчаяния, бегства — все изжито. Жизнь начинается сначала — ново, молодо, не каменным четырехугольником, а дольнее, пространственно, неисхоженно.

Сергей долго стучит ногой о ногу, сбивает ледяную склизь, лицо покраснело от холода; — белая рука уперлась в диван — Маша вытянулась, глядела, ждала — сразу глянули растерянные, нищие глаза, озябшее лицо — вдруг старое, немо одые складки у губ. Еще долго отстукивал ноги, вытирал лицо платком, глаза вытирал — от ветра намело.

— Отказано, Маша.

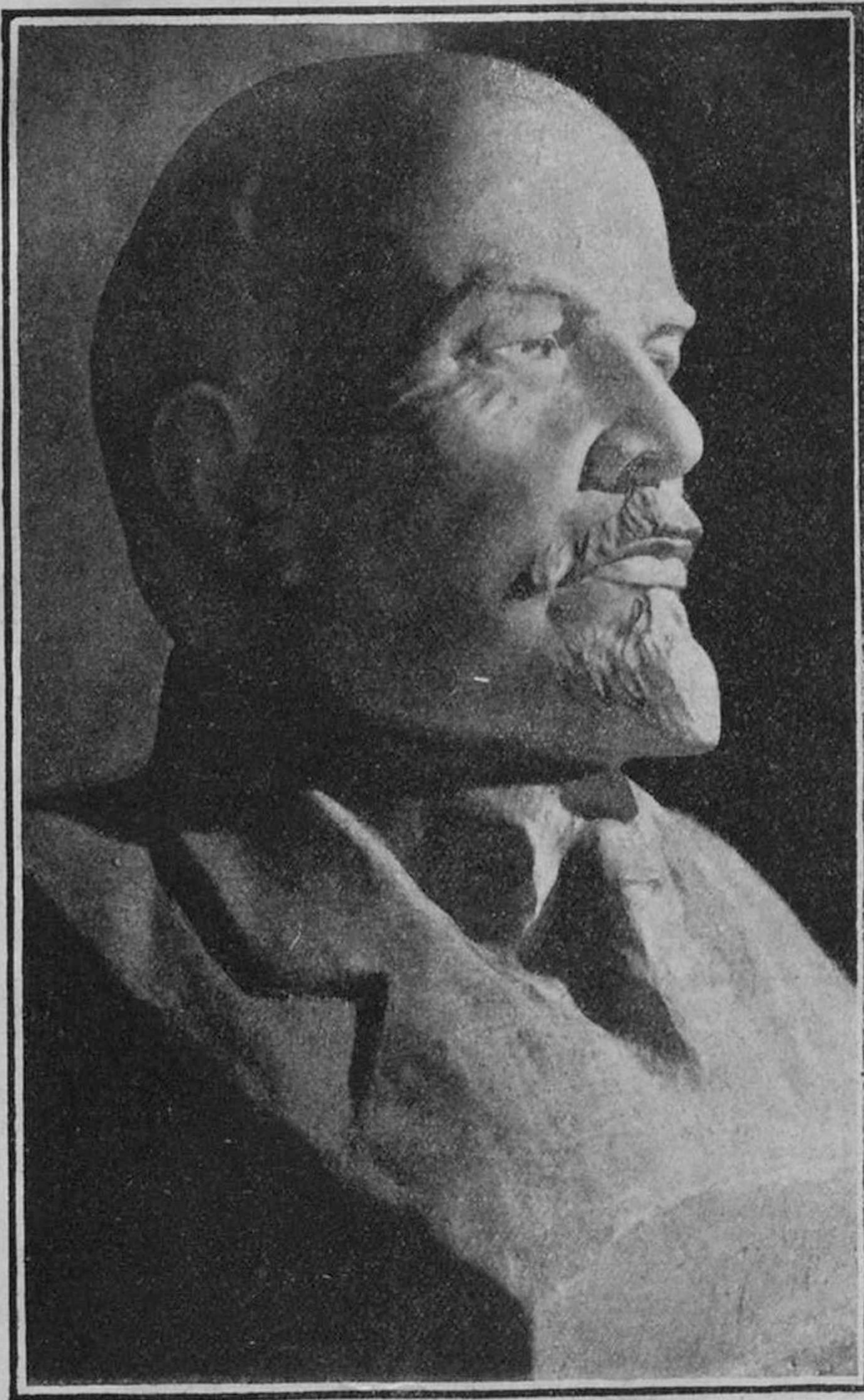
Мелкие синие цветочки в вазочке — пахучие, цветы в Берлине дешевы, на углах торговли с букетиками. Башмачинки вдруг жалкие, с острыми носочками, с гетрами, жалкие гетры.

— Отказано, причин не говорят.

— А ветер, осенний берлинский ветер — гонит склизь, зеленый гной фонарей, и золотые буквы обвисают: Massagu... Massagu... или ликер Канторовича, ликер Канторовича в глиняных графинчиках-пузанах — ветер нагнал на ресницы мызглого снегу, все платком вытирал. И платок не свежий, на ходу жили, до платков ли, до устройства ли жизни...

— Как же теперь будем жить? — Маша спросила, голос из граммофонного ящика, словно сквозь шум.

— Как-нибудь будем... надо квартиру переменить, за городом вдвое дешевле... сообщение удобное. Все ищут за городом. Займусь чем-нибудь... службы не найду, роман



Алексеев.

Бюст Ленина.

(Художественная выставка труда во Дворце Труда).

ЦЕНА в Москве, провинции и на станциях жел. дор. — 25 копеек.

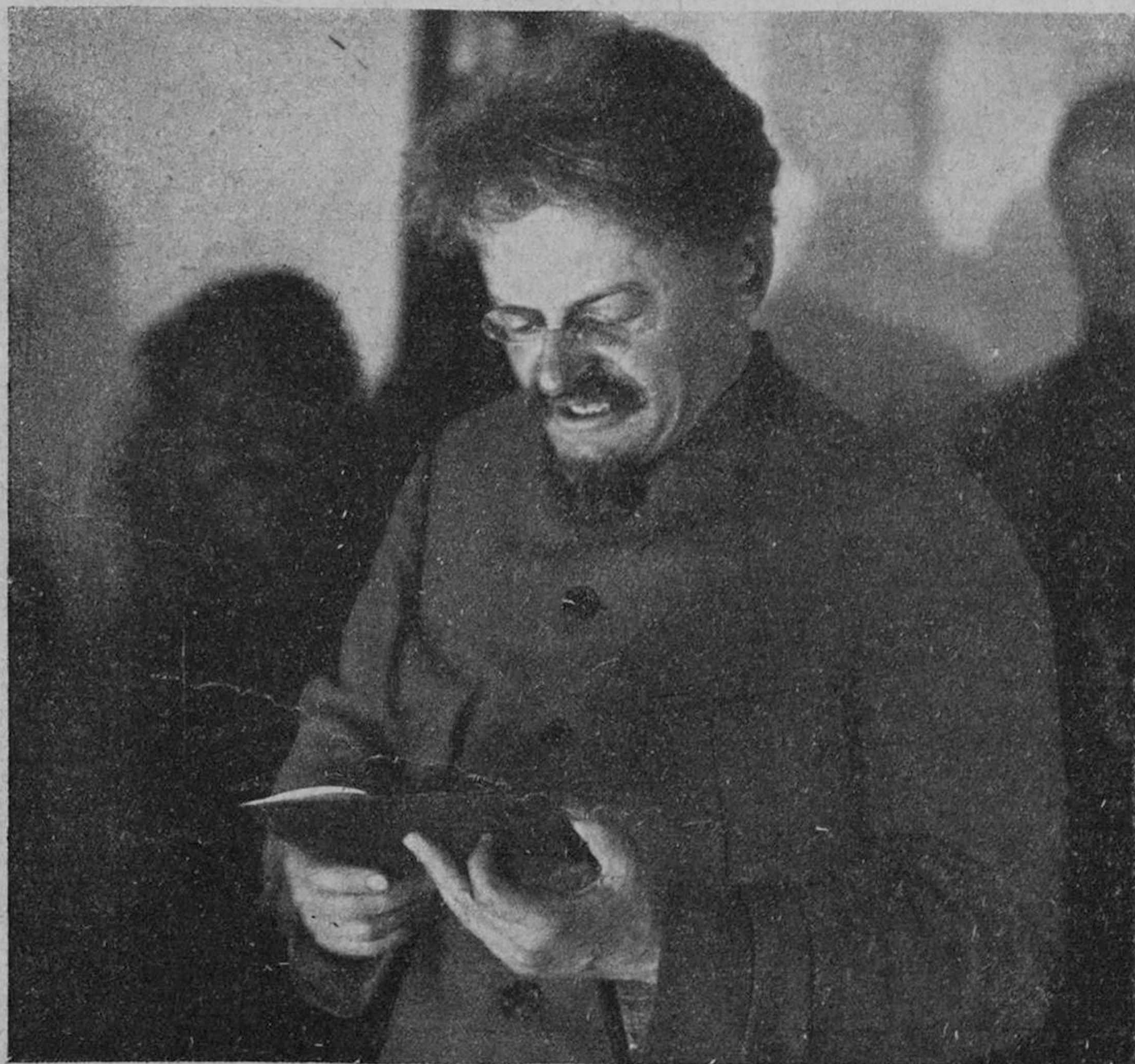
КРАСНАЯ МИВА

№ 18

Москва, 4-го мая 1924 г.

№ 18

Фот. Кузнецова.



Л. Д. ТРОЦКИЙ.

(На торжественном заседании по поводу трехлетия комуниверситета трудящихся Востока).

Издательство „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.

КРАСНАЯ НИВА

— ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Ю. М. СТЕКЛОВА

№ 18

Москва, 4 мая 1924 г.

№ 18

СОКРОВИЩА ЭРМИТАЖА.



Рембрандт.

Девушка с цветами.



черную юбку, купленную в год поражения на Марне, и щеткой вычистила жакет, уже сияющий протертыми локтями. Все было хорошо, но у Бубби не было цельных чулок.

Она одевалась медленно, словно ей нужно было поспеть только к утру; в зеркале — ее волосы, собранные у ушей в узлы.

Старая фрау Шумахер спросила с постели:

— Ты идешь к господину Розенталь, чтобы еще раз попросить места, не правда ли, Бубби?

— Да, мутти, я пойду к господину Розенталь.

— Но застанешь ли ты его в такой час дома, Бубби?

— Я застану его, мутти, наверняка.

Она оделась, не зажигая света, привычно действуя руками, потом остановилась посреди комнаты, тупо глядя перед собой. Подошла Мицци и выгнула спину горбом, — говоря: «мгр». Потом Бубби зажгла у зеркала огарок, вынула из столика жженую пробку и, поднеся лицо вплотную к зеркалу, стала водить пробкою по бровям. От ее теплого дыхания стекло запотело. Сняв нагар на палец, Бубби закрыла глаза и пальцами насушила ресницы; потом она вытерла платком зеркало и долго пудрила нос.

В постели лежала старая Шумахер, вполголоса разговаривая с собою, тихий кашельный голос ее походил на звук лобзика по доске. Бубби подошла к постели и поцеловала мать в сухой лоб.

Мать обняла ее за шею, стараясь не помять шляпки, и долго глядела на нее, приподняв с подушки свою тряскую желтую голову.

Руки ее дрогнули.

Бубби молчала.

Сухим шопотом сказала старая фрау Шумахер:

— Нет, нет, ты не к господину Розенталь идешь, маленькая Бубби.

Бубби молчала.

Опять подошла Мицци и опять сказала:

— Мгр.

Бубби ушла, не проронив ни слова.

Улицы окутались морозом туманного вечера. На Шпрее влажно кричал паровозик. Бегал по улице черный хромак и зажигал газ. Здесь дома были тесно сбиты стена к стене, грязны, вонючи и бессветны; на темных балкончиках лениво поцелескивалось развешанное для просушки белье, плющ на перилах ссыхался, коробясь, уже похожий на прогнившие спутанные бичевки. С подъездов и из-под ворот тянуло отбросами скудной, голодной жизни, прокислым запахом опустившей руки нищеты. Пивные веселили светом, но и они не были голосисты. Зетер схватил кусок газеты, да не сильные, видать, были его пальцы — выронил, погонял, пошуршал да и бросил.

Ну, куда ты пошла, Бубби? В какой-то лахудрый переулочек!

Бубби, стуча каблучками белых туфель, пошла к фрау Кох, к той фрау Кох, у которой бородавки по всему жирному, как молочный кисель, лицу, а на бородавках растет волос. На лестнице еще не зажигали газа, Бубби все боялась запачкать белые туфельки, начищенные камнем. В двери, в стеклянном кружочке, клубился свет.

Бубби перевела дух.

Бубби постучала. И ответила на голос мягкий, топкий, как кисель:

— Фрау Кох, это я, фрейлейн Бубби Шумахер.

Фрау Кох отворила дверь, загородив вход обильным своим телом, пропахшим периной, кухней и животным удовольствием. Впрочем, она была добрая женщина, фрау Кох, но день за днем ее жалостливое сердце зарастало жиром. Онадохнула на Бубби перегаром жесточайших папирос, шевельнула всеми своими бородавками одновременно и спросила так тоненько, что голос ее рисковал порваться:

— Что тебе надо, мой сахарочек?

— Фрау Кох, помните, полгода назад вы предлагали мне... и я пришла.

— Что я тебе предлагала, котеночек?

— Вы говорили мне, фрау Кох...

— Не помню, не помню, конфеточка, что я говорила тебе полгода назад.

— Фрау Кох! — сказала Бубби в слезах.

Фрау Кох подалась немного в сторону, чтобы свет падал на Бубби, и очень долго рассматривала ее заплаканными щелками глаз, делая губами: «ц! ц! ц!» и покачивая накладкой волос, всегда свежей. Потом она сказала размягченным голосом:

— Нет, нет, моя девочка, теперь даже такой свежий товар не находит спроса. Нет, нет. В Берлине одни голоштанники, безработники, такой, прости господи, занищальный народ. К тому же, думаю я, полиции из Иены доставили партию биноклей — такая стала глазастая, что как глянет на тебя, так ты и голая. Не выйдет, не выйдет, ангелочек мой. У меня и так сейчас на углах три дуры стоят, на звезды зевают, а за неделю, дай бог, гостя два на каждую. А вчера из Фридрихсгагена приехала племянница, — ты, говорит, тетя, хоть ради родства прими. Ничего не выйдет, красавица, вре-

мена такие, что блуд на ум нейдет.

Бубби молчала.

— Полгода назад еще куда бы ни шло, а теперь... — сказала фрау Кох. — А жених-то твой что же, мотылек?

— Мой жених погиб вместе с отцом и братом.

— Ц-ц-ц!.. Эх, доля наша женская!

Бубби помолчала.

Потом сказала через силу:

— Фрау Кох, ведь я невинная.

Фрау Кох нагнула голову, дрогнули все ее бородавки, даже щелки глаз стали шире.

— Не врешь, девка?

И плечи ее, и груди, и живот пришли в движение.

— Ты войди, — сказала она, — войди, я попытаюсь.

В комнате посапывал приспущенный газ, комната была продолговатая, как ящик из-под сигар, на столах, дешевое паспарту с женщинами в ночных сорочках, мягкая мебель, на камине керосиновая лампа, в стекло воткнул бумажный цветок. В буфете, под стеклом, массивное серебро, кило на два. И каменный кот с отбитым носом.

Бубби села в кресло.

Ну, и что ж?

За стеной фрау Кох нашептывала в телефон на языке непонятном, лающем, иностранном. Умела говорить на иностранном фрау Кох.

Ну, и что ж?

Скоро она вышла в темном платье и в брюссельских кружевах на плечах, торопливо достала из нижнего

ВЫСТАВКА ВО ДВОРЦЕ ТРУДА.



Н. А. Касаткин.

Работница.



Г. К. Савицкий. «Кожевенный завод» (1924 г.).

Фот. Н. Петрова

Картина Савицкого знаменательна в двух отношениях—она написана специально для постоянной выставки при Музее Труда Культотдела ВЦСПС, что указывает на появление **нового** художественного «мецената»—рабочих организаций, и во-вторых она написана с большим пафосом, а это указывает на то, что наше искусство начинает искренно и глубоко вдохновляться мотивами труда.

ящика буфета чистую скатерть, стала накрывать стол, вынула три тонких бокала на серебряных стрекозиных ножках, по стеклу зелененькие веночки. Рядом с бокалами поставила бутылку шампанского и бутылку мартелевского коньяку.

Хлопоча, сказала:

— Тебе повезло. Американец. Будь же поживей с ним, тюльпанчик невинный.

И, вздохнув:

— Насилу уговорила. Половину — мне.

Ночью Бубби принесла домой смятый зелененький доллар.

Ну, куда ты ходила за ним, Бубби, в какой-то лахудрый переулочек?

4. День Франтика и Матильдочки.

Франтик и Матильдочка вышли из дома рано утром, взявшись за руки. Франтик был белобрысенький, Матильдочка темненькая. У Франтика совсем не было бровей, щеки бледные, пористые, нос сощемленный, и говорил он в нос, был он замухыркал, тих и вдумчив. А Матильдочка была хорошенькая. На лестнице они дружно сказали фрау из нижнего этажа:

— Доброе утро!

И незнакомому господину, подымавшемуся по лестнице, страдающему одышкой, сказали тоже:

— Доброе утро!

И фрау портье:

— Доброе утро!

На улице было солнце, веселый ветер и куча всяких очень замечательных происшествий: на велосипеде проехал человек в соломенной, проеденной пылью, шляпе, с рюкзаком за спиной, а из-под куртки у него свисала подтяжка и была как хвост; на балконе высокого дома поливали цветы, а внизу, на улице, было как дождь.

Матильдочка сказала, посверкивая веселенькими глазками — глазки у нее были в крапинку.

— Когда я выйду замуж, у меня по утрам будет кофе с молоком и с сухариками, а к обеду всегда сладкий суп, жареная солька и картофель. Картофелю будет очень

много, со свиными шквариками. И после обеда тоже будет кофе, но только без молока.

— Муж твой будет пьяный, — мрачно сказал Франтик, — и будет тебя бить.

— Муж мой будет такой, как херр Вагнер.

— Херр Вагнер тоже пьет.

— Он пьет, но веселый, — сказала Матильдочка, — он поет песни и мочит усы в пиве, и тогда у него усы как в мыле от пены. Херр Вагнер говорит, что скоро будет война немцев с немцами, а после войны придет новый Иисус Христос и сделает все по-хорошему. На улицах везде будут цветы, и они ничего не будут стоить, потому что не будет денег, и никто никогда не будет плакать, и начнется вечное блаженство, как во время конфирмации.

— А на небе летит аэроплан, — сказал Франтик.

Они стояли и глядели в небо, в небо, как бы клубящееся голубизной, в которую впились крыши зданий и заводские копченые трубы, похожие на чортовы пальцы — освещенная желтокровным осенним солнцем, в небе жужжала земная птица, распластав недвижные крылья.

Франтик убежденно промолвил:

— Я буду авиатором.

— Упадешь.

— Не упаду, — сказал Франтик.

Чем дальше они шли, тем люднее становились улицы, тем красивее платья женщин и богаче витрины магазинов. Нужно было держаться ближе к стене, чтобы не сбила с ног как бы потерявшая разум толпа, с неугомонностью бежавшая по тротуару. Ах, какие автобусы! Передние колеса тонкие, задние толстые, молчаливый человек сидит у рулевого колеса и дудит в сирену (так бы подудеть!), кондуктор ходит по крыше, стучит кулаком о железный лист, где написано: «ликер Канторовича» (так бы посту чать!) и кричит низким голосом: «кто еще не имеет билетов?» (так бы покричать, как он, низким голосом!). А трамвай, а молодые люди на трехколесных неподшипленных велосипедах, с ящиками за спиной, по ящикам буквы: «Берлинская Газета» или: «Чулочное производство Кирхко», или: «пишущие машины Мерседес»...

На той улице, где не было трамвайных линий, где по асфальтовой дороге только изредка проплывал блестя-

КРАСНАЯ ШИВА

№ 27

Москва, 6-го июля 1924 г.

№ 27

V Конгресс Коминтерна.

Фот. Пролеткино.



Тов. Зиновьев, Скрыпник и Шлихтер у знамени, поднесенного германской делегации незаможными крестьянами Полтавской губ.

КРАСНАЯ НИВА

— ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ —
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Ю. М. СТЕКЛОВА

№ 27

Москва, 6-го июля 1924 г.

№ 27



Петров-Водкин.

Полдень.

Произведение Петрова-Водкина — своеобразная попытка охватить в пределах одной картины, на фоне одной природы, различные моменты жизни крестьянина: рождение и материнство, труд, смерть и последние «провода».